

Павел Васильевич Анненков

**Наше общество
в «Дворянском
гнезде» Тургенева**



Павел Васильевич Анненков

Наше общество в «Дворянском гнезде» Тургенева

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2572085*

Аннотация

«Трудно сказать, начиная разбор нового произведения г. Тургенева, что более заслуживает внимания: само ли оно со всеми своими достоинствами, или необычайный успех, который встретил его во всех слоях нашего общества. Во всяком случае, стоит серьезно подумать о причинах того единственного сочувствия и одобрения, того восторга и увлечения, которые вызваны были появлением «Дворянского гнезда». На новом романе автора сошлись люди противоположных партий в одном общем приговоре; представители разнородных систем и воззрений подали друг другу руку и выразили одно и то же мнение. Роман был сигналом повсеместного примирения...»

Содержание

Павел Васильевич Анненков Наше общество в «Дворянском гнезде» Тургенева

Трудно сказать, начиная разбор нового произведения г. Тургенева, что более заслуживает внимания: само ли оно со всеми своими достоинствами, или необычайный успех, который встретил его во всех слоях нашего общества. Во всяком случае, стоит серьезно подумать о причинах того единственного сочувствия и одобрения, того восторга и увлечения, которые вызваны были появлением «Дворянского гнезда». На новом романе автора сошлись люди противоположных партий в одном общем приговоре; представители различных систем и воззрений подали друг другу руку и выразили одно и то же мнение. Роман был сигналом повсеместного примирения и образовал род какого-то литературного *treve de Dieu*¹, где каждый позабыл на время свои любимые мнения, чтобы вместе с другими спокойно насладиться произведением и присоединить голос свой к общей и единодуш-

¹ (примирение именем Бога (фр.)

ной похвале. Конечно, тут можно видеть торжество поэзии и художнического таланта, самовластно подчиняющих себе разнороднейшие оттенки общественной мысли, но с некоторою основательностью тут можно предполагать также, что не каждая из рукоплещущих сторон одинаково понимает внутреннее значение произведения, и не каждая в приговоре своем подразумевает именно то, что другие.

Разбирать причины и, так сказать, составные части громадного успеха, встреченного романом г. Тургенева – не наше дело. Скажем только, что явление это, по нашему мнению, принадлежит к числу очень замечательных явлений последнего времени. Мы хорошо понимаем единодушие в приговоре, когда дело заходит об общей идее, в которой каждый человек порознь или целый народ вместе узнают свою неотъемлемую собственность, свое отражение и цель для своих стремлений; но единодушие перед свободным проявлением авторской фантазии, перед вопросом искусства, перед фигурами и образами, которые вызваны потребностью отдельного, частного лица или его художнической прихотью – такое единодушие представляет уже хорошую тему для исследования. Достаточно вспомнить, что для образования подобного факта нужно было каждому из многочисленных судей позабыть на время все нажитые им теоретические отношения к другим людям (иначе он бы никогда с ними не сошелся), а это вообще довольно редко случается во всех литературах. При подобных явлениях уму наблюдателя неиз-

бежно представляется одно из двух: или счастливое произведение вдруг осветило эстетическим и моральным потребностям, жившим скрытною, затаенною жизнью в умах большей части современников, или при оценке произведения существует какого-либо рода недоразумение, имеющее право на раскрытие и объяснение.

Мы можем сказать откровенно, что, по искреннему нашему убеждению, в составлении успеха новому произведению г. Тургенева участвовали в известной мере и то и другое из этих условий.

Когда-то, довольно давно, печатно было замечено, что для автора «Записок охотника» период поэтических анекдотов с тонкими чертами из народного быта, с мастерски заостренным юмористическим словом, с легкими, по-видимому, но глубоко задуманными и сильно выработанными картинками и положениями, прошел безвозвратно. После «Записок охотника» автору не оставалось ничего более, как пуститься в открытое море полной, многосторонней народной жизни, если он не хотел укорениться в одном роде и вечно плавать у берегов быта, в этих анекдотах, похожих на изящные, щеголеватые лодочки, неценимые для прогулок, для полусерьезных и полушутливых бесед, но мало пригодных к большому, долговому и серьезному плаванию за богатствами русского духа и русской поэзии. Кроме сельских подробностей, помещичьих и чиновничьих нравов, на очереди художественного воспроизведения стояло еще тогда целое, так называемое обра-

зованное общество наше со всеми разнообразными своими явлениями, которые возникали, двигались, цвели и умирали без всякого свидетеля, наподобие невидимок, редко-редко оскорбляемые любопытным взором наблюдателя. Из этого странного терема, созданного, как и все терема, пренебрежением, леностию мысли и самодовольством писателей, г. Тургенев пытался с самого начала освободить несколько образов, но он относился еще к новому миру, куда вступал, очень горделиво; он как бы сомневался, способен ли этот мир к независимой жизни в искусстве, сумеет ли он держать себя как следует и принесет ли он честь и похвалу своему покровителю. Вместо того, чтобы попытаться уразуметь черты открывшегося ему мира, автор стал *выбирать* между ними и, как бывает всегда в таких случаях, выносил на свет не то, что действительно имело силу и значение в обществе, а то, что походило на самого искателя, на собственные его идеалы. Но явления жизни неумолимы, как древние боги. Их не вызовешь презрением или укором, их не дождешься, сложа горделиво руки на груди, и вдобавок ничем их не заменишь: ими надо овладеть открыто и честно, как овладевают сердцем гордой и благородной женщины, для чего очищают и исправляют собственную свою мысль и собственную свою жизнь. Не всякий способен к такому смелому приступу, который один дает победу и обладание: вот почему большая часть изящных произведений, содержание которых касалось истории нашего общества, отличалось в то время вы-

думыванием явлений, подлогом и подставкой изобретенных мотивов вместо настоящих и жизненных. Покуда само общество хранило суровое, равнодушное молчание, – ложные слухи, произвольные догадки и сплетни ходили о нем по литературе без малейшего препятствия. Даже Гоголь не мог изменить литературную привычку к выдумке, лишь только основная интрига произведения помещалась в среде тех слоев общества, которые непосредственно следуют за мелким чиновничеством, сельским дворянством и городским провинциальным населением. Самые странные литературные букеты, не имевшие ни формы, ни цвета, ни запаха, набирались именно на той почве, которая принадлежала классам, заявляющим претензию на образованность, на умение лучше понимать жизнь и разумнее, богаче и художественнее устроить ее. Великий пример Гоголя принес одну только пользу: он обратил писателей в чутких сторожей, которые на пороге этого особенного и разнообразнейшего общества проводили дни и ночи, ожидая, не покажется ли кто случайно из вечно замкнутых и недоступных дверей. Когда сама теснота и обилие жизни, там царствующей, выбрасывали какое-либо явление наружу, подобно тому, как некоторые многолюдные страны выбрасывают излишек своего населения в Америку, неусыпные стражи устремлялись на жертву с поспешностью и рвением людей, проживших многие сутки без сна и дела или с пустым делом в руках. Таким образом получили мы несколько настоящих типов, разработанных, надо при-

знать, очень удовлетворительно и множеством несомненных талантов, потому что таланты у нас находятся в обратной пропорции со *знанием*: знания мало, дарований много. Впрочем, мы все-таки должны быть благодарны этого рода литературному захвату, как ни мало требовал он доблести, усилий мысли и наблюдения. По милости его, мы приобрели, как уже сказали, несколько законченных типов, например, тип *широкой натуры*, освободившей себя от всякой ответственности перед совестью, тип *ничтожного характера* с сильными претензиями и развитою головою, тип *благонамеренного бюрократа*, загоняющего людей к порядку и добродетели, как стадо ит. д. Мы подстерегали жизненные явления из-за угла не даром!

Немного ранее «Рудина», и особенно с этого романа мы видим г. Тургенева уже в середине того круга, по внешней окраине которого ходила вся наша литература, и не только в середине, но в прямом, открытом и свободном общении со всем его поэтическим, комическим и подчас трагическим населением. Нажитые понятия, предубеждения и предрассудки остались у него за порогом нового мира, да и в этом новом мире он уже ищет не *исключительных явлений*, которыми можно было бы поразить простых людей, а ищет человека с отношениями, определяющими и направляющими его. Как ни отрывчаты его рассказы, как ни слышится в них еще тайная робость за себя и за внутреннее достоинство выводимых им лиц, говор публики вокруг новых его произве-

дений показал, что он уже близок к настоящему делу, что ему остается превратить свои намеки в ясные, положительные факты, договорить свои полуоткровения, доделать фигуры, брошенные на половине, и получить затем право на название летописца современной жизни. Через ряд более или менее удачных опытов г. Тургенев дошел наконец до простой, многозначительной драмы, какая является в «Дворянском гнезде» и каких тысячи втихомолку разыгрываются по разным углам нашего отечества, дошел до лиц и характеров, нисколько не запятнанных грубым авторским произволом, а взятых из неисчислимой движущейся толпы так называемого образованного общества, где они укрываются от ленивого наблюдения; словом, он изобразил такое событие, которое оказалось связанным тончайшими нитями с нашею современностью, с сердцами всего настоящего, или, лучше, всего *отживающего* поколения. Таков был результат смелого и вместе дружелюбного отношения к жизни. Мудрено ли, что общество, узнав наконец в яркой картине одну из тайн собственного существования, встретило картину с увлечением и восторгом, которыми оно обыкновенно награждает людей, открывающих ему дорогу к самосознанию, к оценке себя и к суду над собой?

Но мы сказали также, что в составлении огромного большинства хвалителей нового произведения г. Тургенева участвовало и участвует, почти равную частью с основательными и вполне законными причинами, простое недо-

разумение. Нетрудно будет доказать это, если потрудимся разобрать хоть отчасти толки и суждения публики по поводу главных действующих лиц романа, и особенно по поводу самого поэтического и самого привлекательного из них – барышни провинциального города, благородной Лизаветы Михайловны.

Дело вот в чем. Из среды патриархального, но уже суетного и испорченного семейного быта г. Тургенев вывел образ молодого существа, которое с первых шагов на поприще жизни замечает, что оно не вторит общим интересам окружающих, их понятиям, радостям и заботам. В душе Лизаветы Михайловны созрел идеал существования, который не может сдружиться с тем, что представляется девушке в настоящем и чего может она ожидать в будущем. После первых неудачных усилий помириться на чем-нибудь в текущей жизни, она быстро разрывает с ней все связи и заключается в монастырь.

Общее выражение участия и умиления со стороны публики проводило ее в это последнее убежище; но нельзя сказать, чтобы характер девушки и сущность ее жизни были оценены и поняты удовлетворительно большинством ее поклонников; иначе последние не стали бы так много соболезновать о судьбе ее, и, может статься, вместе со слезами сострадания явилось бы у них и какое-либо другое чувство. Нам кажется, что внешняя сторона ее существования много участвовала в привлечении к ней тех симпатий, которыми она теперь

пользуется. В самом деле, вот девушка, мечтающая исключительно о моральных обязанностях своих, когда в ее годы и в ее положении думается о светлой поэзии и радостях жизни; вот первые проблески любви и счастья, падающее на ее сердце не живительною росой, а каплями яда и огорчений, вот отступает она перед грубою действительностию, начинает чувством святое отвращение к земным искушениям и торопится унести девственную чистоту ума и сердца в суровую монастырскую келью. Не для жизни даны ей были молодость, красота, высокие предчувствия истины и блага, все погребло в цвете, застигнутое неожиданным морозом среди весны, и притом той чудной весны, которая восстает всегда под пером г. Тургенева. Inde²... отсюда слезы! Но если бы судить о лице этом по выражению горя и жалоб, возбужденных им в читателях, то пришлось бы отнести его к числу тех слабых, хотя и интересных организмов, которые страдают потому, что неспособны к здоровому человеческому существованию. Кто из поклонников Лизаветы Михайловны заметил, что в нежную, грациозную и обаятельную форму ее облеклась такая строгая идея, которая часто бывает не под силу и более развитым и более крепким мышцам? Лизавета Михайловна способна тронуть и вызвать у самого хладнокровного читателя, это правда, но одною слезой и сожалением она не может довольствоваться: она имеет право на нечто большее, нежели слеза и сожаление, чем, как известно, вполне оцени-

² отсюда (лат.)

ваются и достаточно вознаграждаются многие героини трогательных романов, испытавшие горе и несчастья.

А затем еще в общем хоре поклонников нашей повести сильную долю голосов образует новая и особенная раса «искателей идеалов».

Удивительно иногда становится, когда подумаешь, к какому употреблению и к какому злоупотреблению способны бывают *слова!* Чего не вводится иногда под покрывку слова, весьма определенного сначала, но затем потерявшего от общего употребления, как старая монета, первоначальный штемпель и надпись свою? Чего не стараются тогда схоронить в его недрах, и подчас каким странным требованиям и целям принуждено оно бывает служить и отвечать? Идеалом, на языке эстетики, означает всякий образ, соединяющий в себе всю ту сумму нравственных и поэтических черт, какая ему свойственна по природе его. Это очень просто и, пожалуй, может быть выражено еще в другой формуле, именно: всякий нравственный и поэтический образ, верный действительности и самому себе, есть идеал. На основании этого определения и комическое лицо под пером художника-писателя может оказаться идеалом, так же точно, как, на основании того же определения, самая благонамеренная фигура, снабженная многими добродетелями и прекрасными мнениями, но без жизненной и поэтической правды, не в состоянии будет добиться до желаемого повышения в идеале. С этой азбукой эстетики благоразумное меньшинство

новейших искателей идеалов, пожалуй, и согласится отвлеченно, но вот где вся партия целиком расходится с эстетикой. Настоящий идеал может иногда казаться осуждением и отрицанием того низшего порядка вещей, где он явился и призван действовать, а у ложных идеалистов он обязан узаконять его и мирить с ним. На языке новейших искателей идеалов всякая попытка облагородить будничные, так сказать, подробности жизни, пошлый ход ее, грубые и закоренелые ее привычки, называется стремлением к идеализации, и чем труднее задача – сообщить пошлomu какое-либо значение и достоинство, тем выше ценят они усилия писателя и тем сильнее приходят от него в восторг. С ужасом и отвращением бегут они, в ремесле, от замазки первоначально-го материала красками и лаком, какая почасту делается для прикрытия его трещин и пороков; замазка и лак, наоборот, составляют для них желанную цель и последнее слово в искусстве. Они отличаются от всех других искателей тем, что непричастны их волнениям, а, напротив, любят покой, умственную и физическую негу: идеал для них – почти то же, что праздник для школьника, освобождающий его от всех обязанностей и от всякой заботы. Они бы желали праздника на круглый год, и если можно, навсегда. Вместе с тем в уме их таится невысказанное желание, чтоб идеалы служили щегольскими ширмами для прикрытия неприятных житейских случаев, требующих скорой и деятельной помощи, – для устранения от глаз явлений и событий, волнующих об-

щественную совесть и нарушающих безмятежное состояние души, которое им так дорого. Они даже судят об относительном достоинстве идеалов по материальному употреблению, какое можно сделать из того или другого. Сквозь запуганные определения идеал их часто выглядывает не в образе эстетического понятия, а в форме полезной меры благочиния. Завидев в лице Лизаветы Михайловны безропотную покорность судьбе, убедясь, что впечатление, производимое ею, тихо и отрадно, и особенно не найдя в ней никакого протеста против людей и обстоятельств, от которых она без жалобы скрывается в монастырской келье, вся эта раса новейших искателей идеалов в один голос причислила ее к сонму своих любимцев и увенчала автора за создание такого бескорыстного, скромного и похвального существа.

Но так ли все это?

Есть афоризм, не подлежащий сомнению: «Поэты рождаются», – но можно прибавить к нему, что и высоконравственные характеры тоже «рождаются», по крайней мере, возникновение их часто бывает необъяснимо. Они образуются иногда без помощи воспитания, примера, правил и указаний, сохраняемых семейством от старины или от господствующего учения; они могут явиться (и часто являются) в години полной духовной тьмы, в недрах самого испорченного круга, при совершенном отсутствии моральных убеждений, еще не добытых или уже потерянных окружающим их миром. Этими характерами доказывается только высокое достоинство че-

ловеческой природы, способной всегда творить нравственные типы, ее выражающие. Иногда нет никакой возможности указать, где началась работа их благодатной мысли, когда и чем пробудилась их душа, по какому поводу они разошлись с общими понятиями и создали себе особенную мерку для определения добра и правды. Достоверно одно, что иногда достаточно самой скудной духовной пищи для развития их морального существования в изумительном блеске; какая-нибудь книжка, какое-нибудь ничтожное событие в домашнем быту делаются неожиданно крепкими основами их будущего развития. Для Лизаветы Михайловны достаточно было няни Агафьи с ее пламенным рассказом о мучениках и подвижниках, с ее народно-мистическим настроением, чтоб обратить молодой ум совсем в противоположную сторону, именно: к строгому *пониманию* моральной идеи, заключающейся в религии. Часто даже глубоко нравственные характеры обходятся и без этих толчков, без этой подмоги на первых шагах своих в жизни. Учителями их делаются просто все безобразные, темные, неразумные и тупые проявления страстей и обычаев окружающего их быта; они учатся правде ввиду господствующего произвола, сознанию обязанностей своих – на духовном и телесном растлении близких людей, порядку, справедливости и снисхождению – на общей распущенности и на диких порывах животного существования. Можно сказать даже, что чем заразительнее все примеры, окружающие их, тем они тверже укореняются и смелее идут

в правом пути. Кто впервые указал его, кому обязаны они первым известием об его существовании, – неизвестно. Может быть, это – неизбежное действие пришедшего времени обновления для всех, или, может быть, это – действие точно такой же благодати, как, например, поэтический дар; как бы то ни было, Лизавета Михайловна принадлежит к семье этих самородных нравственных характеров.

Великое достоинство этого лица состоит особенно в том, что автор не лишил его вместе с тем существенных прав и качеств молодости. Этого и надо было ожидать. Не такой писатель г. Тургенев, чтобы мог остановиться на отвлеченном образе, заняться сухим или односторонним педантическим идеалом. Лизавета Михайловна является нам в полной красе девичьего развития; дело только в том, что фантазия девушки, работа ее головы и сердца, самая игра жизненных сил, все уже окрашено врожденным нравственным чувством, от которого она ни убежать, ни освободиться не может, которое составляет ее величие и ее кару посреди людей. Да и проявляется оно особенным, весьма тонким образом. Ни разу не встретишь у нее резкого слова, крикливого суждения или враждебного поступка против определения и понятий большинства (а ведь подобные грубые порывы мысли и нужны многим людям для уразумения характера): нравственное чувство ее выражается только постоянною боязнью жизни, постоянным к ней недоверием и каким-то испугом перед новыми, еще неизвестными ей явлениями, точно в моло-

дой душе Лизаветы Михайловны уже поселилось убеждение, что оттуда ждать нечего. Никто из самых близких людей не владеет ее сердцем, ее доверенностью: привязанностию племянницы не может даже похвастаться сама Марфа Тимофеевна, превосходный тип умной, добросердечной старухи, по природе любящей в человеке молодость и достоинство. Марфа Тимофеевна однако же слишком бойка. У Марфы Тимофеевны сохраняется еще оттенок барского своеволия, даже в самом добре, которое она делает: этого уже достаточно, чтоб испугать ее племянницу, Лизу, на которой всякий оттенок, лишенный нравственного смысла, отражается болезненно, замыкая ей уста и сердце. Еще тоньше, может быть, поступил автор, выбрав Паншина, пустого светского болтуна, первым предметом, на котором сосредоточиваются у Лизы пробужденные ее наклонности к любви и взаимности. Тут выказывает она очень мало проницательности, знания и понимания людей: нравственное чувство остается единственным руководителем и единственным сберегателем молодой девушки. Отношениями Лизы к Паншину начинается и самая повесть г. Тургенева.

Паншин этот, по выделке, по обилию и роскоши второстепенных подробностей, может быть, уступает в романе только изображению «львицы» Варвары Павловны, обработанному автором с изумительною тщательностию. Паншин вступает в семейство Лизы почти как победитель, еще прежде какой-нибудь победы. Пустейшая мать героини – бывшая ин-

ститутка – за него горой. Удивительный представитель русской полуобразованности и русского фальшивого развития, которые так изумляют иностранцев, он наделен всеми возможными талантами: талантом живописца, музыкальным, чиновничьим, но в той степени, какая нужна, чтобы занимать, тешить людей и никогда не приносить им ни духовной, ни вещественной пользы. Он и оратор, и берейтор, и светский человек – и все это в меру, так чтобы ничто не походило на настоящее дело или призвание. Всякое дело или призвание требуют участия души и мысли, а душа и мысль Паншина обращены только к самому себе. Лизавета Михайловна находит, что он и *добрый человек*: он может играть, пожалуй, и доброго человека очень натурально, покуда жалкие страсти, единственно доступные ему, спят спокойно в недрах его пустой груди. Это совершеннейший тип выправки, которым наполнены канцелярии и салоны Петербурга, смешной и позорный в одно время, если рассмотреть его ближе, но очень годный на выставку, когда нужно обмануть глаза образованного мира, чего, известно, все мы крепко добиваемся. В провинции он еще и представитель столичного *прогресса*, высокого морального и общественного развития, которое там совершилось или совершается.

Такой-то человек принялся со всем усердием и со всем кокетством, к какому только способен, разрабатывать сердце Лизаветы Михайловны в свою пользу, и это не из одной потехи: она успела тронуть даже его черствую душу. Мы за-

стаем ее в ту минуту, когда она начинает поддаваться его усилиям, но вместе с тем читатель поражен в ней признаками какого-то невольного страха и нерешительности: это и есть именно обычная работа нравственного чувства, заменяющего ей опытность и бодрствующего над нею во всякое время. За блестящею наружностью Паншина, за радужною игрой его артистических притязаний, светских приемов и полупризнаний не видится благородной девушке морального образа, смутно живущего в ее душе, не слышится голоса, отвечающего ее предчувствиям и вопросам... Под конец она даже расположена считать свои неопределенные требования, неумолкающие призывы сердца и нравственной природы за особенность или за уродство своей организации, которые должно таить от людей, потому что они никем не признаются, никем не угадываются, равно чужды матери, Паншину, Марфе Тимофеевне и всему семейству. Она решает отдать свою руку Паншину на одном условии – лишь бы не мешал он ей сделаться доброю женой, лишь бы позволил прожить век наедине с собственною ее мыслию. Почти перед самым совершением этой безрассудной жертвы является из-за границы усталый и сильно пораженный домашним несчастьем Лаврецкий. Он обращает на себя внимание Лизы и окончательно отводит ее от соперника своего, Паншина.

Что же делается для нее Лаврецкий? Спустя немного, она опять стоит и перед ним в недоумении, в раздумье, опять с ношей неразрешимых вопросов и неисполнимых требова-

ний своих!

Многим показалось странным одно место в романе. Вскоре после того, как между Лаврецким и Лизой завязались тихие, дружелюбные отношения, начинавшие перерождаться под покровом взаимной передачи чувств и мыслей в настоящую любовь, Лизавета Михайловна сказала ему раз в неопи-санном волнении: «Вы должны простить вашу жену». Вос-клищание Лизы было так ново для слуха публики, что многие приняли его за грубую ошибку, за случайную гримасу, иска-зившую ее физиономию. Для нас откровенное слово Лиза-веты Михайловны имеет другое значение: им высказала она ясное понимание своего собственного положения, им выра-зила ужас к своей любви, зарождающейся на краю пропасти, и положила ей предел, да им же наметила и все, что остается еще Лаврецкому в течение его жизни, как мы сейчас же разберем подробнее.

Во всем этом, кажется нам, трудно усмотреть какое-ли-бо потворство быту или известной среде жизни, которое бы оправдывало надежды, возложенные новейшими искателя-ми идеалов налицо Лизаветы Михайловны. Совсем наобо-рот: глубокая, поучительная, но несколько не сентименталь-ная драма связана, так сказать, со всем ее существованием. Драма есть уже в ее появлении между людьми того круга, которые нам представлены автором, драма сопровождает за-тем каждый шаг ее, не кончаясь даже и там, где автор кон-чает повесть. Куда скроется Лизавета Михайловна от требо-

ваний своей мысли? Где она найдет тот кров, под которым пугливая совесть уже не может быть потревожена? Есть ли в самом деле убежище для нее?.. Не выдумана ли тут келья, как старый, романтический мотив, пригодный к тому, чтобы завершить роман чем-нибудь попримичнее?..

Постараемся однако ж уяснить самую мысль, которая теплится в бессвязных словах Лизаветы Михайловны, когда она вызывает Лаврецкого на примирение с женой фразами: «Надо будет покориться... Я не умею говорить, но если мы не будем покоряться...» – и проч. Следует заметить вообще, что Лиза никогда не выражается у автора полною и определенною мыслью, но вся состоит только из побуждений, предчувствий и намеков, и это по причинам, о которых скажем после. Мысль ее оставляется на разбор и догадку читателя, и мы, с своей стороны, разбираем ее так: в большей части семейных бурь и катастроф люди столько же наказываются неизменными определениями закона, установления, сколько и тайною моралью, которая неизменно присутствует в самой жизни. Это сбылось именно на Лаврецком. Чего искал он в жене своей? Он пленился, рассказывает нам автор, красотой ее форм, роскошными линиями тела, свободой и грацией ее движения, наконец, умом, способным чувствовать и понимать разнообразные эстетические наслаждения. Самую обаятельной чертой в ее характере была именно эта наклонность искать эстетические наслаждения всюду вокруг себя, в обстановке жизни и в обязанностях, налагаемых ею.

В эпоху молодости Лаврецкого лицо, отличное подобными стремлениями, приобретало общее уважение и подчас общее удивление, как за особенный дар, ниспосланный ему небом. Чувство изящного, а иногда просто навык в щегольстве и некоторые признаки вкуса, при внешних преимуществах, ставили лицо или избранницу на недостижимый пьедестал в общественном мнении. Говорить тут о необходимости каких-либо жизненных правил и оснований считалось пошлостью, педантизмом, «нестерпимую рефлексией»; понимание красоты и эстетических приличий казалось символом понимания у поверхностных, неглубоких натур, к числу которых принадлежит большая часть наших любителей и любительниц изящного, служит только чем-то вроде красивого, кокетливого мостика, сокращающего и облегчающего им дорогу к страстям и чисто-животным упражнениям. Надо, впрочем, сказать, что Варвара Павловна щедро заплатила мужу за выбор его. «Недаром, – говорит автор, – веяло прелестью от всего существа его молодой жены; недаром сулила она чувству тайную роскошь неизведанных наслаждений: она сдержала больше, чем сулила». Оставалось удержать Варвару Павловну при себе навсегда, но удержать ее иначе нельзя было, как исчерпав до последнего обола все то добро, которое она принесла с собою в дом, именно красоту и способность наслаждаться; с последним оболом она уже становилась беспомощною нищей и ничем не могла заменить потерь своих. Но Лаврецкий поступает не так. Поку-

да роскошная, парижская жизнь гремит в собственном его салоне, под руководством жены, он сидит у себя в кабинете и страстно, лихорадочно, неусыпно *учится*. Чему именно, зачем, для какой определенной цели – это ему самому неизвестно, это только характеристическая черта его эпохи. Безвыходное занятие, судорожная любознательность, бросающаяся во все стороны, плавание в море науки без компаса, без пристани в виду, – вот его дело, как и любимое дело всего поколения современников его. А между тем Варвара Павловна не ждет. В характере ее нет нисколько нравственной бережливости: она скушает богатством красоты, когда нет возможности тратить его. Не видя близкой руки помогающей, она весело проживает достояние свое, она принимается бросать его по сторонам. Варвара Павловна делает только то, на что она призвана, для чего воспитывалась дома и в казенном заведении, чего ожидала от своей красоты и своего ума. Лаврецкий вывел ее на сцену действия, открыл ей арену для подвигов и за то своевременно получил узаконенную плату. Чего он мог ожидать более, выбирая такую жену, что он сделал для укрепления связи своей, кроме предоставления жене полной свободы располагать собою? Он виноват перед ней и перед своей совестью почти столько же, сколько преступная жена его виновата перед законом, и приговор, изреченный Лизой по вдохновению нравственного чувства становится неотразим: «Надо покориться... надо простить». Больше ничего не остается делать!

Автор не оставил без разрешения и вопроса, почему умный, серьезный Лаврецкий мог так ошибиться в выборе жены. Для пояснения этого обстоятельства г. Тургенев рассказывает нам историю всего семейства Лаврецких, начиная от прадеда их, разбойника, грабящего и злодействующего с ведома, почти с позволения общества, до их отца, англomана, преобразователя, женившегося случайно на крепостной девушке и сделавшегося трусом и тряпкой, по выражению Гоголя, как только жизнь немножко серьезнее заглянула ему в лицо. Первый бил соседей, вешал «мужиков за ребра», последний заводил английское хозяйство и старался образовать из сына своего *спартанца*, незнакомого со слабостями человеческой породы. Так было до 1825 года, когда «близкие знакомые и приятели Ивана Петровича (отца нашего героя) подверглись тяжким испытаниям», и сам он вдруг притих и сжался до глубочайшего ничтожества, до невыразимой пошлости. Все эти страницы у г. Тургенева, с их быстрыми, но крупными очерками лиц, где проходят, почти как видения, разоренные и истасканные графини обок с любовниками своими, бедные дворовые девушки, попавшие в господа, дикие помещики, под взглядом которых замирает всякая жизнь в немом трепете и без сопротивления, принадлежат к числу мастерских страниц романа. Это верная, оживленная картина русских образованных поколений в XVIII столетии и в первой четверти настоящего. Нужно ли говорить, что она далеко оставляет за собой недавние безобразные по-

пытки изобразить близкую нам старину посредством голых выписок из «Записок» и «Памфлетов», скрепляя их только циническими намеками? Нет ничего общего в картине г. Тургенева с этою возмутительною игрой на почве истории, игрой, которую еще вдобавок хотели нам выдать за свободное, творческое создание, как будто из подобранных цитат, из коллекции скандальных анекдотов может выйти что-либо, кроме смешения, поясняющего только малую совесть писателя перед собой и перед публикой. Из картины г. Тургенева оказывается, что наш Лаврецкий несколько раз уже был *надорван* в жизни, прежде чем последняя штука жены подкосила его существование. Так или иначе, но и тут все поколение, к которому он принадлежит, разделяет его участь. Почти каждый из его членов и разными способами был обессилен, прежде чем являлся к жизни и деятельности: жизнь и деятельность валили его только окончательно с ног на землю. На школьных скамьях, на первых порывах молодости, или дома перед требованиями воспитателей начиналось для каждого нравственная диета, направленная к укрощению, извращению или к отмене природных сил человека. Двадцати трех лет *спартанец* был круглый невежда в науках, а еще более в жизни. Варвара Павловна явилась первым существом, которое приняло с улыбкой и доброжелательством этого юного Алкида, как называет его автор, описывая его мужественную наружность, скрывающую младенческое сердце и неведение. Алкид ничего не разбирал. В од-

ном имени женщины, в одном ее образе заключалось для него полное представление всего нравственного, благородного и чистого в мире. Когда Варвара Павловна разрушила это представление, то она разрушила не одну идею, а целиком всю жизнь человека. Несчастье, однако ж, было полезно Лаврецкому. Оно смягчило и обработало его душу, наделив ее тем мудрым снисхождением, о котором говорит поэт, дало понимание русской жизни и, подобно спасительному балласту, привлекло его из обширных, но неопределенных стремлений к земле, к родным степям, к нуждам, печалям и волнениям ближних. Все существо его сделалось чрезвычайно добрым, симпатическим: сердца окружающих покоряются ему невольно, увлеченные его общим благорасположением. Он радуется успехам людей, их радостям, как собственному счастью, и только, обращаясь на себя, желал бы себе еще раз молодости, еще раз любви и еще раз жизни. Как ни странны и мало разумны подобные желания, но они почти сбываются, когда сильный удар женой руки разрушает его воздушный замок... Таков Лаврецкий, заменивший Паншина в сердце Лизаветы Михайловны.

После этого длинного комментария читатель наш может подумать, что затем все просто и очевидно в романе, что все цели и намерения его открыты, что завязка его должна быстро развиться в яркую картину и быстро склониться к неизбежной катастрофе, уже предугадываемой всеми. Несколько иначе однако ж происходит дело в самой повести, пока-

зывая еще раз, что ясность комментария бывает, большею частью, кажущаяся, фальшивая ясность и что он редко может дать понятие о тайной, невидимой стороне, какую имеет всякое замечательное произведение искусства, и какую сухая, критическая передача иногда не исчерпает сразу. Благодаря этому свойству, многое выходит иначе, чем мы ожидаем; например, образы главных действующих лиц написаны автором далеко не с тою грубою выразительностью, которая совершенно освобождает зрителя от труда составлять о них мнение, на что метит обыкновенно комментарий; отношения между лицами далеко не так просты, чтобы достаточно было нескольких размышлений и намеков для полного определения их, и, наконец, интрига романа, задержанная в своем течении созерцательным настроением и автора, и героев, возникшим из самого хода повествования, совсем не так бурно несется к концу, как можно было бы предполагать, а напротив, задумчиво и роскошно тянется, прежде чем повернуть ей к естественному и уже давно открывшемуся истоку. Займемся комментарием и этой второй оборотной стороны романа, как сделали уже для наиболее очевидной и яркой его стороны. Особенный смысл, о котором мы говорили, кажется нам, сообщен роману следующим, весьма важным обстоятельством: герои его, Лиза и Лаврецкий, лишены всякой возможности существовать в мире на тех основаниях, какие выпали им на долю, или какие они избрали себе. Бедственная, роковая невозможность эта оказывается с первого появ-

ления их на сцену отсутствием свободного движения, мертвенностью воли и бессилием перед гнетом внешнего мира, то есть всеми признаками зловещей агонии, поэтический характер которой не спасает однако ж человека от гибели. Они стоят перед читателем, открытые для всех житейских бурь и не имея ничего в руках, чем бы защититься. Со всеми их качествами как нельзя более походят они на тех страдальцев романической школы живописи, которых мы видим на картинах обок с орудиями их страданий, покорно принимающих все удары врагов, посылая только угасающий взор к звездам и ласковому небу. Все их значение заключается в достоинстве характера и в удивительно-глубоком выражении физиономий, но существенный признак жизни – движение – так чужд им, что, кажется, с первым шагом навстречу обстоятельств или на борьбу с ними они лишились бы всего своего величия. Вот почему фигуры Лизы и Лаврецкого написаны автором в легком полупрозрачном тоне, который не дает усмотреть и распознать тотчас же их лица и свойственное им выражение. Место сильных красок жизни заменено тут бесчисленными и тончайшими чертами; каждая из них отвечает какой-либо тайной стороне их существования, и каждая будит в душе читателя множество личных воспоминаний, множество знакомых и родных уму ощущений. Удивительное обаяние, производимое героями, зиждется именно на обилии, выразительности и значении этих подробностей, бросающихся в глаза с первого же раза, между тем как пол-

ный образ героев восстает уже гораздо позднее и требует уже некоторого размышления. Оно и понятно. Единственная сила, сосредоточивающая человека, мгновенно объясняющая его для всех взоров, определяющая и обнажающая его, есть опять-таки движение или, другими словами, употребление воли, борьба за себя и за свои основания. Но Лиза и Лаврецкий не борются, не отстаивают своей жизни, а только заняты мыслию, как бы благороднее, достойнее и великодушнее подчиниться всему, чего потребуют и к чему принудят их обстоятельства. Страдательное положение есть их удел на земле, и притом удел, столько же данный им извне, сколько и взятый на себя по охоте, несмотря на некоторые попытки Лизы и Лаврецкого освободиться от него, противоречащие основному их характеру и потому всегда неудачные, как бывает бесследна всякая вспышка. Где же причина, спрашивается, этого нравственного паралича, поразившего их в середине жизни? Прежде чем действовать на внешний мир, всякому человеку необходимо позаботиться об устройстве и организации своего собственного личного и внутреннего мира. Для того, чтобы вести какую-либо борьбу, необходима твердая точка опоры, которая нигде не найдется, кроме нас же самих. У иных более счастливых поколений, первые зачатки нравственного капитала, столь нужного для развития природных сил в человеке, достаются, так сказать, по наследству и даром. Лизе и Лаврецкому ничего не было оставлено. Вдохновение часто приходило на помощь первой, но

не освобождало ее совершенно от необходимости внутренней работы, а еще менее освобожден был от нее Лаврецкий. Они должны были сами наживать всякую общечеловеческую мысль, всякое светлое, коренное правило жизни, и притом еще беспрестанно поверять на самих себя всякий моральный принцип, чтоб удостовериться, не фальшивого ли он чекана и достоинства. Так мало достоверности представляли им те признанные и законные авторитеты, которым другие народы слепо и охотно подчиняются. Но заниматься устройством своих домашних, так сказать, душевных дел и в то же время принимать все вызовы обстоятельств и храбро выдерживать незаконные дуэли с случайностями жизни – работа вообще очень тяжелая. Лиза и Лаврецкий ограничились одною половиною ее и обратили всю энергию воли исключительно на самих себя. Может быть, покажется странным, что мы говорим об энергии и воле нашей четы после того, как признали уделом их на земле страдательное положение по преимуществу. Оно и точно странно, если глядеть на них со стороны действующего лица или, по крайней мере, где обыкновенно стоит читатель, и где они неохотно, да и весьма неловко, показываются; но если посмотреть на них в их душевном улье, в тайной их работе над собою, дело принимает совсем другой оборот. В царстве растений есть роды, обозначаемые названием *тайнобрачных*, между русскими людьми есть многочисленный класс, который можно бы назвать *тайнорабочим*: он неутомимо, упорно трудится над собой, под

покровом глубочайшего молчания, в глухом, незримом тайнике собственного духа. Отсюда и явление, часто повторяющееся в нашей жизни. Внешний мир, например, по-прежнему стоит, как стоял, каждый и все оставляют его жить в покое, как живет, но взгляд на него уже изменился, опередил его и даже покинул. Со слов нашего автора мы сказали, что Лаврецкий был обессилен, прежде чем наступила пора обнаружения сил, и это кажется нам несомненно в отношении той стороны его существования, которая соприкасается с живым и действующим миром; со слов же нашего автора можем сказать наоборот, что Лаврецкий потратил огромное количество труда и силы на другую, нравственную сторону своего существования. Между ним и отцом его, англоманом, лежит, например, целая бездна развития, но кто же вырыл ее, как не Лаврецкий-сын? В превосходных сценах, изображающих нам психическое состояние Лаврецкого по получении в Париже несомненного доказательства измены жены и собственного позора, мы видим, как пробуждаются в нем мрачные силы его родоначальников, отцов и дедов его, и как твердо побеждает он их в себе. Страшные испытания, каким подвергает его Варвара Павловна по возвращении в Россию, никогда не застают его врасплох, а находят его также настороже против грубых инстинктов и увлечения: он страстно бережет человеческое, гуманное чувство свое, добытое с таким трудом, даже перед коварством и низостью. Плебейская кровь, которая отчасти течет в его жилах, помогает его усилиям, но

не создала их, как намекает автор не вполне основательно, по нашему мнению: плебейская кровь также нуждается в обуздании ее духовным началом, может быть, даже более, чем какая-либо другая. Энергическое управление своим внутренним миром – вот где единственная доблесть Лаврецкого, не имеющего иной доблести. Этим он отличается от всех Чацких и Печориных. Чацкий, Онегин, Печорин свободно презирают всю окружающую их современность, совсем не подозревая, что презрение надо бы начать с самих себя, и что они составляют первое звено той самой современности, которую так охотно осмеивают. Они выделяют себя из толпы без малейшего права на то или по праву вроде «вольности дворянской», и ни разу не пришлось им подумать, что изменение порядка вещей, который тяготит их, должно не предшествовать изменению их собственной жизни, а следовать за ним. Лаврецкий менее заносчив и развязан, но он серьезнее их. Не нужно прибавлять, кажется, что мы отдаем ему преимущество только за обилие содержания, произведенное самим ходом жизни и времени, а не за выразительность и яркость образа, чем первые, конечно, далеко превосходят его.

Все замечания эти еще в большей степени прилагаются к Лизавете Михайловне. Мы сейчас говорили о ее врожденном нравственном чувстве, которое есть тоже произведение естественного хода времени и развития самой жизни. Лиза постоянно отстывает перед событиями и требованиями действительного мира, ее окружающего, это правда; но также

правда и то, что без особенной внутренней энергии она никогда не могла бы защитить себя так полно от его условий, притязаний и понятий! С своим врожденным даром понимания или, лучше, предчувствия высшего порядка вещей, она проходит между людьми удивительно строго и твердо, между тем как внешнее ее существование колеблется, без малейшего сопротивления, дуновением всех случайностей жизни. Сила ее только в ее мысли. Но характер Лизы как типа современной образованной девушки лучше всего объясняется сравнением его с другим типом того же рода, первым по времени и по достоинству, именно с Татьяной Пушкина.

Между Татьяной Пушкина и вторым типом русской провинциальной барышни, достойным этого названия, Лизой г. Тургенева, лежит промежуток тридцати годов, но он еще ничего не значит в сравнении с бездной, которая разделяет их в нравственном смысле. Можно ли было в тридцатых годах наших вообразить себе русскую девушку с теми чертами и свойствами, какие замечаем у героини нового романа г. Тургенева? Необычайно длинное путешествие совершил этот образ с того времени, как впервые показался в литературе нашей. Для того чтобы Татьяна Пушкина могла превратиться в знакомую нам Лизу, ей нужно было убедиться в бедности и тщете всего, что прежде так томило, волновало и занимало ее. Прежняя Татьяна занята исключительно историей своей любви и ни о чем другом, кроме орудия и проводника этой любви, Онегина, понятия не имеет, да еще и о

нем понятия ее весьма ограничены и скудны. Зато она исполнена жертвенности, грации и страсти, которые заступают ей место всех правил и образа мыслей. Еще и до сих пор, по остатку старого романтизма, любовь понимается многими как идея, исключаящая все другие идеи, и с появлением которой человек освобождается от всех обязанностей, житейских и нравственных. Влюбленная женщина, по одному тому что она влюбленная женщина, представляется и теперь существом, исполнившим на земле все, что следовало ей исполнить, изъятым от суда и мелких ожиданий своих собратьев по крови и отечеству. Что же было в тридцатых годах? Любовь, как священная отметка, положенная на избранника или избранницу чьею-то невидимой рукой, тотчас же выводила их из толпы, каковы бы, впрочем, ни были их душевные качества и умственное настроение, и вечно свежая поэзия Пушкина воплотила это понятие общества в живом типе, который останется перлом его творческой деятельности. Блестящая, ослепительная красота этого типа не может, однако же, помешать нам всмотреться пристально во все черты его. Татьяна под конец обнаруживает еще и способность к сделкам с своею совестью, какие обыкновенно зарождаются в обществе, еще не имеющем твердых оснований, когда нужно обойти препятствие или установление, слишком строго повелевающее. Тогда является тайный кодекс самовольных правил и исключений, который и действует рядом с нравственными законами, в ущерб им и оскорбляя их одним сво-

им присутствием. Татьяна замужем за генералом, к которому ласков двор и которому она остается без любви верна навек. Это уже способно возбудить подозрение, но она еще любит втайне Онегина и находится замужем – вот что положительно дурно, если не с точки зрения тех годов, когда творил поэт, то с точки зрения нашей современности, когда многое уразумелось проще и правильнее. Ведь Татьяна обманывает тут не только свою совесть, но и веру другого человека, хотя все чисто и безукоризненно в ней по наружности. Далекое не так полно и ослепительно, как Татьяна, выразила себя Лиза в романе г. Тургенева (да и кому же у нас под силу меряться с Пушкиным в выражении!), но она сделала огромное приобретение с тех пор, как показалась впервые Татьяной. Лиза имеет строгие нравственные основания; сделки с совестью ей противны; благоговение к свету и к условным приличиям заменилось неудержимым стремлением направить все свое домашнее, обыденное существование в смысле одной религиозно-моральной идеи, врожденной ей или приобретенной ею. Это уже своего рода героизм, а понятие о необходимости возводить до героизма благородные побуждения и так называемые добродетели не существовало еще во времена Пушкина, да и теперь оно далеко не привычный и далеко не вполне знакомый нам гость.

Как бы то ни было, но покамест Лизавета Михайловна и Лаврецкий покорно выжидают приговора жизни и обстоятельств, не делая ничего, чтоб обратить его в свою поль-

зу, смягчить или избежать его. Это круглые сироты известного общественного быта, и выражение тихой, грустной поэзии, свойственной людям, обреченным на жертву с самого рождения, принадлежит им по праву. Поэзия этого рода создала вокруг ровный, светозарный ореол, и от них разошлась по всему роману. В ее короткой, задумчивой атмосфере движется даже большая часть второстепенных лиц, как, например, дворовый человек, старик Антон, дошедший, путем привычки, до благоговения к удручающей его власти, приживалка в комнате Марфы Тимофеевны, музыкант Лемм с его постоянною благодарностию и вспышками вдохновения (лицо, впрочем, сильно отзывающееся воспоминаниями старого романтизма) и проч. Всего более присутствует она в описаниях, и кто ехал вместе с Лаврецким в деревню после его долгой заграничной жизни, кто жил с ним в глуши его поместья перед степями, получившими для него внятную и знаменательную речь, ходил с ним по опустелому, тяжелому дому умершей тетки, смотрел свободно и смело разросшийся сад поместья, при тишине едва движущейся и как бы замершей жизни, кто, наконец, провожал с ним верхом Лизу, посетившую его уединенное жилище, и возвращался с ним опять домой при лунной ночи, переживая в себе сладкое чувство новой привязанности, им овладевшее, тот уже не позабудет этих впечатлений. Томительно и отрадно ложатся они на сердце читателя, наполняя его в одно и то же время грустью и наслаждением. Есть мгновение в ро-

мане, когда поэзия, окружающая образы Лизы и Лаврецкого, достигает своего апогея. Неожиданно разнесшийся слух о смерти жены Лаврецкого открывает вдруг и впервые нашей чете надежду и счастье. С обычной боязнию, с непобедимым сомнением в возможности его, с тайными упреками совести, поминутно возрастающими в душе ее от каждого самого незначительного обстоятельства, начинает Лиза привыкать к этой мысли. Она еще вся поглощена борьбой между надеждой и опасениями, не понимает сама, что с ней делается, когда раз застает ее чудная летняя ночь, Лаврецкий, прокравшийся в сад, неожиданное свидание с ним и первый, единственный поцелуй любви, сорванный с ее уст в тишине ночи, который отдается в другом месте города, у бедного Лемма, вероятно, предчувствовавшего свидание, юною и вдохновенною сонатой. Надо читать это описание в романе, чтобы испытать его обаятельное и потрясающее действие. Он как будто вызвал из гроба львицу Варвару Павловну, потому что вслед за тем она является в маленький городской домик Лаврецкого и умоляет его о пощаде и прощении, в которых, видимо, нисколько не нуждается. Тогда все расчеты с жизнью кончаются для Лизы, она решительно порывает связь с людьми, обществом, и убегает в монастырь. Чистая поэзия самоотречения, омывавшая их с самого появления на сцену до того, что лишила воли, простора и движения, теперь окончательно слилась в безмятежную реку над их головами. Мудрено ли, что новейшие искатели идеалов

рукоплещут этому покорному отречению от радостей жизни и желали бы сделать его даже законом для всех людей? Мы лучше хотим присоединиться к тем чувствительным, которые оплакивают внешнюю судьбу и участь четы, хотя слезы наши будут пролиты столько же над несчастиями Лизы и Лаврецкого, сколько над тем обстоятельством, что только поэзией и возможно было автору осветить их симпатические образы. Весьма замечательно, что и сам автор, кажется, разделяет это сожаление. Он относится к главным лицам своей повести, по нашему мнению, так свободно, как только возможно писателю относиться к своему собственному произведению. Конечно, он сочувствует страданиям своих героев, болеет вместе с ними всеми их болезнями, но при этом он не увлечен ими и постоянно сберегает для себя право суда над ними. Это двойное отношение к героям выражается мимолетными, едва уловимыми чертами, но вы чувствуете, что под роскошными поэтическими описаниями его течет еще какой-то другой источник, который не дает им переродиться в болезненные, идиллические произрастания распушенной фантазии. Этот крепящий источник есть критическая способность автора, и она один только раз выступает вполне наружу, именно в конце романа, когда Лаврецкий с лирическим воодушевлением благословляет молодое, свежее поколение, поселившееся в доме отсутствующей Лизы, на новую и лучшую жизнь. Для тех, которые умеют понимать написанное, источник этот слышен был гораздо ранее, чуть ли не

с самого начала романа. Упреки, какие можно сделать главным действующим лицам романа, уже все сделаны автором прежде читателя в собственной своей повести. Стоит только внимательнее посмотреть, чтоб открыть во множестве следы поверяющей и обсуждающей мысли его. Иногда кажется даже, будто роман написан с целию подтвердить старое замечание, что великие жертвы, приносимые отдельными лицами ежедневно и по своему произволу, точно так же свидетельствуют о болезни общества, как и великие преступления, слишком часто повторяющиеся в нем. Могло ли это случиться, если б автор не имел ничего в виду, кроме простой передачи образов, представших его воображению? На физиономиях Лизы и Лаврецкого также по временам играют лучи какой-то другой мысли, чем их собственная. Как ни обаятельно изображена Лиза, каким вниманием, участием и любовью ни окружает ее автор, но чрезвычайная осторожность в создании этого характера уже показывает заботливость автора не проговориться, а видимые усилия его держаться на одной с ними высоте тоже родились не без причины. От превосходного образа Лизы даже и теперь, после тщательной его обработки, все-таки отделяется мысль, что зародыш настоящей поэзии, питающей сердце, заключается в свободном обмене чувств, подобно тому, как условия общественного просвещения заключаются в обмене мыслей. Автор глубоко сочувствует Лизе, но как будто боится ее стремлений. Само собою разумеется, что в отношении Лаврецко-

го он мог высказаться определеннее. Вот почему столько раз проходит у него по всему рассказу о нашем герое легкое выражение осуждения и сострадания, столько раз наводится читатель, тихо и незаметно, на строгий тон и приговор. При самом искреннем участии клипу в уме читателя возникают беспрестанно вопросы, и это именно потому, что сам автор приступал к изображению лица с такими же точно вопросами в душе. Но вместе с тем он и оберегает своего Лаврецкого; его, видимо, томит опасение, чтобы кто-нибудь не поднял голоса и не сказал: «Довольно уже надумались мы о прошлом, и выговорили все свои жалобы, и оплакали его тлетворное действие на себя и других; пора или умирать вместе с ним, или оттолкнуть его от себя, как некогда киевляне отталкивали на середину Днепра, в быстрину реки, старого бога своего, столько веков тупо и грозно стоявшего перед ними». Он торопится предупредить замечание, ослабить его действие всеми возможными пояснениями, и заботливость, с которою придумывает он извинения для Лаврецкого, впадая даже в преувеличение (вспомним похвальбу Лаврецкого собой и своим поколением в конце романа), свидетельствует, несомненно, что возражениями нельзя удивить его и что они заранее чувствуемы были им в глубине собственной его мысли. Это двойственное отношение к лицам, к которому, впрочем, автор приведен был неизбежно свойством выводимых характеров, и сущностью самого повествования, отразилось в заглавии романа. «Дворянское гнездо» звучит, ка-

жется нам, весьма иронически и заставляет ожидать если не сатиры, то, по крайней мере, горькой иронии, взятой из недр известного общественного круга, а между тем роман, носящий такое название, весь исполнен снисхождения, нежной поэзии и тихой жалобы. В *простые* эпохи творчества этого бы не могло никогда случиться, но не в такой эпохе живет автор наш, и особенно не из простого и ясного построения, как было у предшественников наших, вышли люди, подпавшие теперь художнической кисти его.

Остается еще третье важное лицо романа, и притом единственное, живущее полнотой жизни, смело идущее ко всем целям своим, свободно и мастерски управляющее событиями, именно «львица» Варвара Павловна. Мы уже говорили о ней, но не можем удержаться еще от нескольких слов. Торжествующий образ Варвары Павловны нарисован так ярко у автора, что почти выходит из рамы повествования и противоречит общему его колориту, выдержанному в томном и нежном полусвете. Существо, более безобразное в нравственном отношении и более искушающее и раздражающее в физическом смысле, трудно и представить себе. Это порождение особенного рода сборной, так сказать, цивилизации, которая наплывает с разных сторон на человека, нисколько не заботясь о том, где она ляжет, на чем ляжет и как ляжет. Она только равно удаляет человека от народных убеждений и от народных предрассудков, от духовных стремлений времени, и от его заблуждений, от хороших и дурных

сторон общего отечества, замещая все это понятием о служении самому себе или даже потребностям своего организма, как у нашей львицы, под тем покровом щегольства и приличия, какие только нужны не для обуздания чужих страстей, а для лучшего их возбуждения, прикрытия и направления. Эта цивилизация нам хорошо известна: мы почасту различаем ее признаки у себя дома, преимущественно в так называемых избранных кругах общества, и можно полагать, что есть немалое количество читателей, публично негодующих на «львицу» Варвару Павловну и втайне, может быть, безосновательно завидующих ее уму и способности наслаждаться жизнью, опрокидывая все препятствия на пути своем. Одно лицемерие еще связывает «львицу» Варвару Павловну с гражданским обществом; не будь лицемерия, она была бы так гола, так отвратительно свободна, как отаитянка или жительница Сандвичевых островов. Чему ей покоряться? Во всем мире не существует для нее какого-либо обязательного правила, так как внутри ее не существует и признака какого-либо противоречия – все ясно и просто для нее, все побеждено и покорено ею. Оттого силы для борьбы с людьми в пользу своих интересов, нерастраченные на воспитание себя, у нее всегда налицо и действуют неотразимо, открыто и победоносно. Моралист и этнограф одинаково задумаются над этим образом, который так полно представлен г. Тургеневым. Но для «львиц», подобных Варваре Павловне, недостаточно родной почвы и отечества, где, по услови-

ям жизни и образования, сцена действия еще узка и должна довольствоваться партером из небольшого числа знатоков и ценителей этого рода талантов. Вот почему «львицы» наши охотно бегут за границу, где арена для подвигов их значительно расширяется, и где в самых разнородных кругах могут они найти полное понимание и полное признание всех своих доблестей. Столицы Европы наполнены этими героинями, увидавшими свет на родных наших берегах Клязьмы, Суры, Камы, иногда и далее, иногда в бедном и нуждающемся семействе. Однако ж и столицы Европы не в силах подчас отказать им в удивлении. Оно и понятно. Явление туземных «львиц», европейских Варвар Павловн возникает от заблуждения страстей, от извращения мысли, от действия различных учений, обуревающих общество, наконец, просто от жажды шума и известности. Они имеют если не оправдание, то, по крайней мере, своего рода определение. Ничего подобного нет в настоящей, родной нашей Варваре Павловне. Она может похвастать, что никогда не поддавалась «гибельным впечатлениям» от чего бы то ни было, что ни вредное чтение, ни опасное размышление не участвовали в образовании ее вкусов, что она так же мало обязана своим величием увлечению страсти, как и превратному понятию о независимости. Как же тут не удивиться? Варвара Павловна сама создала себя. Она есть точно такое же самородное, оригинальное явление русской жизни, как и антипод ее, благородная Лизавета Михайловна: ими выражаются два противополож-

ные полюса одного и того же общественного развития.

Ничто так не утверждает в этом убеждении, как одно обстоятельство, равно приложимое к обоим лицам: Варвара Павловна тоже не имела никакой опоры вне себя для своего беднорожденного, хилого нравственного чувства, как другая для строгого своего идеала. Есть на свете множество характеров, которые нуждаются более чем в обоих правилах, составляющих достояние всего человечества, для того, чтобы сберечь свое достоинство и укрепить в себе нетвердые понятия о чести. Им нужны еще бывают частные правила разумного существования, требования, узаконенные обычаем, примеры, вошедшие в силу закона, словом, весь тот неписанный устав общежития, какой обыкновенно вырабатывается самими народами в своих недрах, служит им лучшей характеристикой и составляет, может быть, высшее их произведение: в нем различные национальности сознают себя как нравственные лица. Подобные кодексы есть у англичан, немцев, французов, но особенно у первых; благодаря этим кодексам, все личности, кроме гражданской и религиозной связи, связываются еще воедино и общим представлением житейской морали, составляя, таким образом, великое духовное братство. Никто не может нарушить его под опасением сильного нареkania, и каждый член бессознательно стремится возвратиться к нему всякого ослушника. На эти готовые указания долга и порядка именно и опираются люди, имевшие несчастье родиться без внутренней потребности к вос-

питанию себя, и действительно, при бедности натуры, тут заключается единственное спасение для человека. Ничего подобного у нас нет. Каждый человек у нас есть единственный руководитель, оценщик и судья своих поступков. Мы не можем согласиться друг с другом ни в одном, самом простом и самом очевидном нравственном правиле, мы разнимся во взглядах на первоначальные понятия, на азбуку, так сказать, учения о человеке. Представления о дозволенном и недозволенном в различных кругах нашего общества до такой степени разнородны и противоречивы, что поступок, выставляемый на позор одною стороною, дает повод наивно похвастаться им другою стороною. Все это называется свободой жизни. Многие даже смотрят на самое явление как на весьма выгодное для общественного положения, не связанного никакими путями, никакими узкими и тираническими определениями обычая, и потому способного широко развиваться во все стороны. Не знаем, так ли это, но, по крайней мере, умножение лиц, подобных Варваре Павловне, в последнее время и наглые примеры откровенного заявления своего безумия, беспрестанно встречающиеся, несомненно, свидетельствуют, кажется, что нам покамест еще нечего гордиться этою свободой.

Как ни длинна статья наша, но решаемся сделать еще одно последнее замечание.

Говорят, что мы *молодой народ*, и это правда, если принять в соображение недостаточное развитие многих сторон

общественного быта; но если судить по свойству наших пороков и даже добродетелей, то мы вместе с тем и очень старый народ. Возьмите, например, жизнь того класса, который выведен перед нами в «Дворянском гнезде». Разве порок не приобрел тут изящества, тонины и замысловатости, совершенно чуждых народам, действительно юным? Но оставим отрицательную сторону и присмотримся только внимательнее к лучшей, положительной стороне нашего быта. Спрашивается: какое общество, только что начинающее свое поприще, только что вышедшее из детства, способно чувствовать и переживать то горе, которым страдают героини «Дворянского гнезда»? Мы сомневаемся даже, чтоб оно могло просто следить за хитрою сетью разнородных нравственных требований, которою опутаны мысль и воля честнейших и лучших людей, выведенных перед нами автором. Нужно было обществу многое пережить на свете, прежде чем успела образоваться в нем эта неугомная поверка своих стремлений, это тяжелое созидание идеалов жизни на развалинах других идеалов, данных историей, это духовное скитанье, смеем выразиться, из одного нравственного представления в другое, которое обнаруживается отчасти в Лизе и уже так развилось в Лаврецком. Конечно, позволено будет сказать, что круг, где они родились, стар, если не годами, то раннею, преждевременною опытностью: даже доблести его и самый героизм далеко не юношеские, а скорее такого круга, который находится в поре зрелости, уже граничащей с утомле-

нием. Добродетели молодости всегда проще, и менее подготавливаются, и обнаруживаются свободнее. История воспитания Лаврецкого, рассказанная автором, поясняет нам, отчего на молодых физиономиях могут показываться черты и признаки старчества. Если это так, то, во-первых, ироническое название «Дворянского гнезда», данное кругу, из которого вышел Лаврецкий, само собою оправдывается, а во-вторых, необходимость обновления, упрощения и освежения этого круга становится очевидна. Пророчеством близкого обновления кончается и самый роман г. Тургенева: последнее слово его есть воззвание к молодому поколению, являющемуся на смену старого с новою жизнью и новыми понятиями. Так и должно было кончить все это повествование: иначе оно вышло бы апофеозой немощи и страдания, подтверждением того антиобщественного правила, по которому нравственное достоинство никогда не должно иметь в жизни гордого и смелого шага, а всегда или падать, или влачиться за другими, как калека.

Да и не одному кругу Лизы, Лаврецкого, Варвары Павловны необходимо, кажется, обновление, а всем классам общества, без исключения которого-либо из них, и если мысль эта имеет какую-либо долю истины, то писателям нашим предстоит важная роль в обществе, потому что всякое дело нравственного свойства всегда было предчувствуемо ими ранее, чем другими, и в минуту своего свершения всегда находило их за себя и в передних рядах. Невольно припоминается это

теперь, когда встречаются из писателей софисты, испытывающие странное наслаждение публично бичевать себя, взывая с сокрушенным сердцем: «Мы ничего не сделали, мы ни на что не способны, и благодать приходит к нам от тех, кто мало мыслит, ничему не учится, плохо видит!» Особенно в отношении к нашему автору требования и ожидания публики могут и должны быть чрезвычайно строги и взыскательны.

Г. Тургенев уступает другим современным нашим повествователям, пользующимся известностью, в некоторых качествах, а особенно в качестве непосредственного, невольного творчества, овладевающего предметами описания сразу, по инстинкту и, так сказать, по естественной потребности своей. Он должен думать и много думать, прежде чем обнаружится в нем какая-либо сторона создающей силы: так, по крайней мере, нам кажется из тщательного изучения его произведений. Но взамен ни у одного из наших повествователей нет такого чутья к тончайшим поэтическим оттенкам жизни, такого острого психического анализа и такого понимания невидимых струй и течений общественной мысли, которые пересекают в разных направлениях современный быт наш. Вот почему от него всегда можно ожидать именно того слова, которое на очереди, или которым занято большинство умов. Преимущество это, кроме таланта, обуславливается и обширностью горизонта, каким пользуется его мысль: оно отличает многие из прежних его рассказов, стоящие, по испол-

нению, ниже задач, набросанных им для разрешения. При таких качествах невозможно писателю смотреть на предметы постоянно с одной точки зрения или не видеть, как приближается время их изменения и как восстает за ними ряд новых явлений, имеющих право требовать, чтобы поэт-этнограф обратился к ним лицом. До сих пор г. Тургенев был избранный и непревосходимый летописец *безвыходных положений*. Как ни удобны для развязки потрясающей драмы так называемые «безвыходные положения» вообще, но и для них наступила пора преобразования. Можно требовать теперь, по крайней мере, чтобы «безвыходные положения» рождались из естественного течения и развития обстоятельств, из свободной воли самих лиц, выбравших себе дорогу посреди множества дорог, а не походили на стену, поставленную какую-то невидимую рукой поперек пути, на которую неизбежно наталкиваются все проезжающие и проходящие, и под тенью которой умирают, не зная, что им делать. Настроенное, родившее все прежние романы г. Тургенева, исчерпано последним, «Дворянским гнездом», кажется нам, до капли. «Дворянским гнездом» автор завершил все старые свои представления, все образы, тревожившие душу его в течение многих лет: он возвел их наконец до полного выражения и тем самым простился с ними навсегда. Таково обычное действие мастерских произведений на самого писателя. Мастерским своим произведением автор окончательно снимает с себя многолетнюю работу и отгоняет прочь цепь мыс-

лей и образов, деспотически владевших его фантазией до минуты их всестороннего осуществления. Мастерское произведение есть желанный конец творческого пути, с которым забываются волнения и страдания дороги, вместе со всеми ее явлениями: память о них есть уже достояние истории и записок. После него, как после мистического возрождения, жизнь должна начинаться сызнова, и счастлив тот художник, который, таким образом, может становиться несколько раз духовно-юным, чувствовать себя несколько раз без прошлого и не замечать в фантазии своей ни малейшего признака закоренелой привычки или застарелых вкусов и склонностей. Этого именно имеем мы право и повод ждать от г. Тургенева.